

Олег Нехаев

Журналист, литератор. Живет в Зеленогорске, на берегу сибирской реки Кан. Победитель более тридцати творческих конкурсов. Создатель «Золотого сайта России» — «Сибирика». Лауреат премий за журналистские расследования «Честь. Мужество. Мастерство», «Лучший журналист Сибири». Удостоен звания «Золотое перо России» и высшей награды Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессионализм».



АСТАФЬЕВ. ПРАВЕДНИК ИЗ ОВСЯНКИ

Главы из книги

И все плакали

Москва, 1960 год

Курсанты Высших литературных курсов жили в общестии Литинститута на улице Добролюбова. И именно на этот адрес пришло послание Виктору Астафьеву с Алтая. Он будет читать его несколько раз. Напишет жене: «...чуть не заревел над письмом дочери Моти Савинцева. Ах, сколько же вынес наш бедный и великий народ!» Письмо это станет для него «путеводной звездой в работе».

Матвей Савинцев — реальный герой его самого первого рассказа «Гражданский человек», который в книжном варианте получит

позднее название «Сибиряк». Это был тот самый рассказ, который Астафьев написал за одну ночь в казенном вахтенном журнале. За что начальство его выругало и объявило выговор. Он написал историю о буднях войны. О том, как связист попадает на фронт, приспособляется к суровым тяготам, и, когда требуется, бежит, ползет и восстанавливает под обстрелом важную для всех связь.

Правдивость отображения Астафьев реализует через факт личного знания и видения. Художественные средства для него — придаточны. Он ими еще и не умеет толком пользоваться. Главное для него — описать все как было.

Герой его прост. Зовут Мотя. Он — бывший деревенский тракторист. Родился на Алтае и там же вырос. Весь из живой плоти. Всегда готовый браться за самую тяжкую солдатскую работу. И описывает ее Астафьев со знанием мельчайших деталей, потому что сам был связистом и точно так же, в одиночку, устранял обрывы на поле боя. И было это привычной, никому не видимой обязанностью.

«Пожалуй, не было на войне более неблагодарной и хлопотной работы, чем работа связиста. И можно ручаться, — пишет Астафьев, — что матюков и осколков связисты получили больше, чем наград. Но война есть война. На ней все равно найдется такое место, где человек окажется виден во весь рост».

В его рассказе много боевой обыденности. Нет криков «ура» и описаний «бесстрашного героизма». У него он, этот героизм, страшен и приземист. Вот атаковали их рубежи фашисты, и Астафьев пишет: наши саперы еле ноги унесли. А завтра их опять ждет бой, чтобы отвоевывать потерянное. Может, и смерть ждет. И потому им так важно отдохновение, и «в тихие вечера, когда война как-то сама собой забывалась и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной Каменушке. Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бани, в которой так хорошо попариться, придя с пашни. Простая жизнь, обыденные дела вставляли в новой красоте. Раньше-то ее ни замечать, ни ценить не умели — все шло само по себе, все было как надо, и вот...».

Несколько неуклюжего Савинцева, бойцы ценили за «покладистый, домовитый характер». И еще «теплота в нем была,

и улыбка необидная». А в тот день он дважды восстанавливал связь под огнем немецкого снайпера и помог минометчикам его уничтожить, и еще о танковом прорыве предупредил. Только смертельно ранили Мотю, и «земля, пахнувшая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом».

Однокурсники, узнав об этом рассказе, надумали Астафьева отослать книжку с публикацией семье погибшего товарища. Что он и сделал через знакомого алтайского писателя Николая Чабаевского, который выяснил, что искомая деревня была вовсе не Каменушкой, а Шумихой. И вскоре из Сибири придет письмо, написанное аккуратным, уважительным почерком:

«Здравствуйте, Виктор Петрович!

Пишет письмо незнакомая Вам Валентина Савинцева.

Виктор Петрович, я не знаю, как мне отблагодарить Вас. Вы сделали для нас очень много хорошего. Вы написали книгу о нашем отце. Это нам великая память о нем. Это все, что осталось от него. Еще от него остался старый портрет — и все. Я плохо помню, но было это примерно так. Кто-то сказал, что кончилась война, или еще нет. Или наши подходили к Берлину. Мы с сестрой и мамой были в огороде, когда нам сказали. Мы так радовались, что придет отец, прыгали и радовались. А маме в это время вручили медаль «За доблестный труд». А через несколько дней маму вызвали снова в сельсовет. А она говорит: «Наверное, опять что-нибудь дадут, прямо совсем некогда, а они вызывают». Это мы шли за коровой в поле. Мама шла с веревочкой. Вернулась в сельсовет.

Я как сейчас вижу этот сельсовет. Весь перекопился, крыльцо большое, но пола на крыльце нет, почему — я не знаю. У двери лежали две доски, чтобы можно было зайти в дом.

Я и моя сестра стояли на бревне и ждали, когда выйдет мама. Мы думали, что маме опять дадут медаль, и спорили: кому из нас носить ее. И вот вышла наша мама. Как увидела нас, так голосом и заплакала. А в руках у нее была какая-то бумажка. Мы тоже заплакали, хотя не знали, почему плачет мама, а она долго не могла сказать ни слова.

К нам много собралось людей, и все плакали, а я спряталась в сенях за дверью и там плакала.

Стали мы жить помаленьку. У многих не пришли отцы. Был сильный голод. Жили только на траве. Мама работала, а бабушка — это мать отца, с нами была дома. Бабушка все отдавала нам, а сама не ела. А когда садилась кушать, что-нибудь сварят, то мы ждали, когда первую ложку хлебнет мама и бабушка, тогда мы с сестрой начинали. Это мы договорились так с Зоей. Бабушка умерла, может быть, и от голода. Когда умирала, то кричала: «Уберите траву! Это она задавила меня!»

Незаметно так мы выросли, стали взрослыми. Мне исполнилось шестнадцать лет. Я пошла и получила паспорт. Школу бросила, потому что подружки поехали в город. Я с ними. У меня было всего одно платье. Днем работаю в нем, а вечером стираю и глажу, почти сырое одею и иду вместе с девочками в клуб.

А когда собрались, поехали в Барнаул. Я думала, что буду работать, зарабатывать деньги и куплю себе еще платье, а может, и два... Стали работать. А в тот же год, когда мы уехали из колхоза, наши получили много хлеба и с тех пор стали жить хорошо. Это было в 1954 году. Только тогда колхозники ожили. А я и сейчас живу в Барнауле. Сейчас у меня семья. Муж, дочь и свекровь...».

Вдова Пелагея напишет ему позднее. Чернильной ручкой. Тоже очень аккуратно. Но коротко и сдержанно. Так пишут, когда все слезы уже выплаканы:

«...Во первых строках спешу сообщить, что мы получили письмо, за которое сердечно благодарим. Из этого письма мы узнали, что вы и есть тот самый друг, про которого писал отец. Так ваши мечты и разлетелись в разные стороны. Вас ранили. Отец погиб. А племянница Наташа, на которой он хотел вас женить, умерла в 49 году. Но мы сейчас живем ничего... Я теперь не работаю, часто болею...».

Виктор Астафьев из дальнейшей переписки узнает, что его «книжечку “Сибиряк” читали всей деревней, собравшись в сельском клубе. И плакали все, потому как в деревне Шумихе почти в каждом доме кого-нибудь не дождались с войны и оплакивал всяк своих, слушая о гибели связиста Савинцева.

Имя героя присвоили пионерской организации села Шумиха. И вообще в деревне Шумихе получилось большое и горькое торжество».

И еще он добавит:

«Большую, очень большую роль сыграло в моей писательской жизни письмо Валентины Савинцевой. Что бы я ни замысливал, что бы ни писал — всегда мысленно обращаюсь к ней и каждое свое произведение примеряю на нее, как платье, — подойдет ли оно ей.

И не знаю я другого смысла и другого счастья, чем писать для простых, но истинных тружеников нашей оплаканной и зацелованной земли. Трудом своим и жизнью они заслужили доброе слово, трепетную любовь нашу, и благодарное их слово есть высшая награда...».

Валентин Курбатов. Из статьи «Дорожный посох. В Чусовой, к Виктору Петровичу...»:

«В гибельной тесноте вахтерки колбасного цеха, спасавшего Чусовой от голода, был в одну ночь рожден первый рассказ [Астафьева], повернувший историю Великой Отечественной войны в человеческую сторону и ставший основой для рождения правды Юрия Бондарева, Владимира Богомолова, Константина Воробьева, Вячеслава Кондратьева, Василя Быкова. Может быть, это самое дорогое детище нашей культуры. А вахтерский журнал, в котором был написан рассказ “Гражданский человек”, — колыбель всей великой прозы войны».

Не с кем поговорить

Поезд № 10 «Москва — Иркутск»,
плацкартный вагон, 1992 год

Тем летом впервые возвращался из столицы в Красноярск на поезде. Добираться по железной дороге долго, но денег на самолет не было. Людям месяцами не выдавали зарплату. Полки в магазинах опустели. Жуткая инфляция пожирала и без того нищенские доходы. Навсегда запомнилась очередь за сигаретами, где-то в районе Таганки, длиной метров в двести.

Я, как журналист, был аккредитован в то время при высших органах новой демократической власти. В Кремле пропадал

с утра до ночи. Именно там тогда в старинном Большом дворце заседали российские депутаты.

Помню, как сибирские избранники килограммами покупали в элитном буфете дефицитные сосиски. А пластиковые пакеты в то время были заграничной редкостью. И многие за их неимением везли домой мясной дефицит в обычных авоськах. Сосиски проскакивали сквозь ячейки, и сетчатые сумки начинали походить на коровье вымя с выпирающими сосками.

Я рассказал об этом Астафьеву, и он долго смеялся. Потом сказал, что почти в то же время тоже заседал союзным депутатом в соседнем Дворце съездов и также возил домой буфетные дефициты из Москвы. Но был, как сказал, хитрее. С деловым видом и форсом доставлял домой продукты в портфеле-дипломате.

Моими попутчиками в поезде, сидевшими на боковушках, были двое худощавых работяг с мозолистыми руками. Они ездили в Подмосковье собирать баню из сибирского кедра для какого-то коммерсанта. Всю дорогу строили наивные планы по будущему разбогатению. Напуганные только что отмененным сухим законом, они вечерами пили украдкой какую-то бормотуху, запивая ее ядовито-оранжевой «Фантой» и заедая все ломтями черного хлеба.

Где-то за Боготолом выяснилось, что родом они из Овсянки. Как только я услышал об этом, с радостью воскликнул:

— Знаю, у вас Астафьев живет!

— Ну и хрен с ним, пусть живет. А лучше бы не жил, — грубо осадил они меня.

— Что же вы так о нем?!

— А так! Я до этого на сплаве работал, — тут же вскинулся один из попутчиков. — А он меня взял и куска хлеба лишил. Детьель, блин! Это же он добился, чтобы лес по Мане перестали сплавлять. Защитник природы долбаный. Знаешь, сколько он мужиков без работы оставил? Не знаешь...

Потом его жена Мария Семеновна тоже вспомнила, как на одной из встреч с Астафьевым усть-манские жители также высказывали ему гневное недовольство из-за прекращения сплава. Они были бы рады, чтобы стало все по-прежнему. То есть хотели, чтобы возвернулось варварское обращение с рекой. А оно

доходило до того, бывало, что от плывущих бревен не было видно воды. Река его детства погибала на глазах.

Для Астафьева такое губительное отношение к природе было тогда свидетельством человеческого бездушия и жестокости, равнозначным медленному самоубийству. Оно, кстати, вскоре и продолжилось, здесь же, но уже другим способом. В верховьях стали добывать золото, и река наполнилась отравленной мутью.

В это же самое время режиссер Владимир Кузнецов приехал в Овсянку снимать фильм об Астафьеве. А тому было совсем не до съемок. Разочарование в людях переполняло его. Надежды на Перестройку рушились. И он попросил режиссера: «Увези меня куда-нибудь от всего этого! Не могу здесь писать».

Вот так Астафьев оказался тем летом на Алтае. Кузнецов приютил его в родной деревне Никольское. Километрах в тридцати от шукшинских мест. А потом туда же пригласил погостить и Валентина Курбатова. Тот понадобился для доверительных разговоров, которые, по задумке Кузнецова, должны были стать основой фильма. Но Астафьев был погружен в совершенно другое. Писал очередные главы «Проклятых и убитых».

«Виктор Петрович запирался в комнатке, — вспоминал Кузнецов, — которую ему выделили для работы. Выходил из этой комнаты так, как будто он вышел из боя. Он настолько погружался в материал, настолько пропускал это все через свое сердце, что выходил с таким взглядом — с каким-то отрешенным, неземным. Как будто он побывал там снова, в том же бою, где однополчанин Петр Николаенко вынес его раненого на себе, где был контужен, где гибли его друзья. И жутковато было смотреть на него в этот момент».

Попробовали снимать кино. Но беседа у них вышла надрывной. Они сидели на холме над речкой Поперечкой. И даже не вглядывались в красоту открывшегося простора. Астафьев вообще не обращал никакого внимания на работающую камеру.

Затем проронил с какой-то болезненной тревожностью:

— Невероятно тяжело писать. Потому что это никому не нужно. Что это бесполезно... Ужасное состояние.

А Курбатов почти с советской пафосностью попытался с ходу направить его к правильному исходу:

— Русский писатель, как мы знаем, не имеет права на свою правду. Он говорит от имени народа и говорит народную правду... И с вас спросят суровой мерой...

— Спросят... Самое главное, что я уже прихожу к такому состоянию, когда мне плевать на этот народ. И я пишу, совершенно о нем не думая. А будешь думать, то будешь писать, как Кочетов... А еще и угождая ему, а еще будешь угождать и нашему комиссарству. А там дальше и другим найдется...

Курбатов никак не хотел такого слышать. И в перепуганном смятении бросился урезонивать писателя:

— Сдержитесь обвинять народ! Народ-то в этом не повинен...

— Как это не повинен?! — возмущенно прервал его Астафьев.

— Но ведь и мы с вами этот же самый народ?

— Так и мы виноваты... Лично! Где-то скриводушничали, где-то за кусок хлеба давали об себя ноги вытирать... И когда об весь народ вытерли ноги и мочились ему в глаза, а он кричал — «божья роса!», это даром не проходит...

И вдруг, вслед за предыдущим противостоянием, они оба, с тихой горестностью, произносят в обоюдном согласии:

— Это и сейчас продолжается...

— Продолжается...

Кто еще из современников, кроме Астафьева, предъявлял такой строгий счет народу за его прегрешения? Вот и в этот раз он вновь вызвал огонь на себя. Фильм «Жизнь на миру» с вышеозначенным фрагментом был показан на всю страну.

В больнице я начну говорить ему, что мы уже начинаем терять и то родственное человекоощущение, и ту крепкую сибирскую характерность, о которых он писал ранее. А он прервет меня и скажет: «Потеряли уже. Размылись границы. Размылся и колоритный язык. Стерлись, стали невыразительными черты лица самой Сибири как нации. Сегодня многие стучат себя в грудь и кричат: я настоящий сибиряк. А ведь большинство настоящих под Москвой в войну полегло. Сейчас доживают свой век последние...»

И я начну неуклюже возражать против такой его категоричности, становясь, наверное, похожим на Курбатова. А он в ответ, совсем не глядя на меня, медленно скажет: «Одно тут спасение

себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской... Ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты-то и есть за всех и за вся виноват».

Я помолчал и стал спрашивать его дальше. Только спустя много лет до меня дошло, что тогда он цитировал старца Зосиму из Достоевского. Почти слово в слово, по памяти.

Время многое заставляет пересматривать по-иному. Вот и некоторые его деревенские земляки стали совсем по-другому воспринимать Астафьева после того, как навсегда опустела изба по улице партизана Щетинкина, 26.

Сразу после приезда президента России Владимира Путина в Овсянку я повстречался на улице с пожилой женщиной с умными и красивыми глазами. Заговорил с ней прямо напротив мемориального комплекса «дома бабы Кати». А она со вздохом сожаления мне с ходу и поведала: «Показушничают опять, как всегда. Поднялась бы Катя из могилы — ни в жисть бы не нашла своей избы. Чересчур красиво все сделали».

Знакомлюсь с ней. Выясняется, что зовут ее Наталья Васильевна Путина. Сказала, что президента видела близко, «рядом прошел». Спрашиваю: «Может, родня вам? Заговорить с ним не пытались?» А она мне в ответ: «Зачем?! Нам Астафьев все про наше будущее честно рассказал: “Не надейтесь, бабы, — говорит — хорошей жизни вы точно уже не дождетесь. Долго еще ее не будет в России”. А мы Виктору Петровичу всегда верили. Он нас ни разу ни в чем не обманул. Теперь часто его вспоминаем. Бывало, вечером идет, увидит нас, остановится рядом. Всегда к нам с уважением... Вот и президент поклониться ему приехал. Не просто же так... У него-то точно нет времени разъезжать без толку».

Насчет показушности... Тема эта для коренных овсянцев большая. Она — об отношении к живым и мертвым.

Когда отгрохали здесь мемориальный комплекс, привезли почти полсотни журналистов. Начали впечатляющий показ с обустроенной набережной. А судьба-судьбинушка не дремала, взяла и поступила по-астафьевски. Галина Башкирова о представительной делегации не знала и как раз в это время пошла сюда же полоскать белье в ледяной воде Енисея. И невольно

продемонстрировала удивленным гостям, что жизнь старожил так и осталась здесь во многом, как при царе Горохе.

Перед этим я зашел в домик-музей Астафьева. Только что назначенная директором мемориального комплекса писателя его двоюродная сестра Галина Краснобровкина сказала мне с сибирской прямоотой: «Виктор Петрович печь сам дровами топил. А в доме-музее электрические батареи поставили, чтобы экспонаты не испортились. А ведь при его жизни к нему самому такой заботы не было. Не угоден он был многим власть имущим. Правды его боялись». А уж про «удобства на улице», которыми пользовался писатель, как и другие деревенские жители, она мне и сказать постыдилась.

Вот тут и вопрос. Для кого должно в первую очередь делаться обустройство Овсянки? Для еще живущих людей, для почитания памяти жившего здесь писателя или для зарабатывания денег на турпотоке? Как бы там ни было, но пророчества Астафьева так и остаются в полнейшей силе. Трубы с энергетическим потоком сибирского газа по-прежнему так и идут в заграничную Европу и Китай мимо здешних сибиряков. Будто они хуже чужих.

Директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская, после того как я не один день промучил ее разными «астафьевскими» вопросами, воскликнула: «Каким же он был простым человеком! После всех его наград и титулов — никакого зазнайства. Никакого себялюбия. Всегда, до самой кончины, он оставался открытым людям».

Овсянцы, конечно, прекрасно знали о его известности. Но когда видели его почти каждый день идущего по улице, покупающего что-то в магазине... Вот этой свойскостью, скромностью он сам себя для многих принажил донельзя. Приземлял свое величие. Мог и разнузданным простачком прикинуться. Таким и воспринимали его некоторые. А он через этот отклик всматривался в себя и в других. Как факт остался примечательный штрих к его портрету. В 1975 году именно по инициативе Виктора Астафьева в Овсянке был открыт памятник землякам, погибшим на войне. Стоит напомнить, что писатель тогда жил в Вологде, за несколько тысяч километров от родных ему мест. Но далекая Овсянка для него была намного ближе, чем многим из тех, кто жил в ней непосредственно. Он свою жизнь мерял поступками.

«Какую же память оставляет за собой мое родное село? — спрашивал себя Астафьев. — Чего и кого оно помнит?

Никого и ничего, кроме близкого горя, оно не ведает.

В поссовете нет ни летописи, ни документов, ни метрик, ни бумаг о том, откуда село взялось, кто и как основал его, почему так назвал... Новожиители не помнят, не знают и знать не хотят никого и ничего».

Со своих, с самых близких, у него всегда был спрос намного строже, чем с чужих. Но при этом никогда не забывал пожалеть земляков и напомнить о том, кто творил родную историю: «Люди в моем селе не столько жили, сколько мучались и мучали. Тропа народная с котомками в город и из города так до сих пор и не заросла, потому как камениста она, да и полита солеными горькими слезами, на которых, как известно, даже трава не растет».

Овсянка, живя с ним бок о бок, толком и не понимала его настоящей масштабности. Это другие приезжали за тридевять земель, чтобы пообщаться с ним. Даже из Америки прилетали. А свои могли приходиться запросто. Частенько занимали деньги. Только многие не отдавали. И он об этом зачастую знал заранее. Умел прощать, говорил, что и его жизнь была не без греха. И очень ему нравилось, когда слышал о себе от здешних стариков: «Витька-то наш, потылицынский!»

Были и исключения в обыденном осознании его значения. Например, бывший директор библиотеки в Овсянке Анна Епиксимовна Козынцева: «Я понимала, что это человек совершенно другого уровня, а я — обычный библиотекарь... Для меня это была такая недостижимая величина... Что я поначалу даже не решалась остаться с ним на чаепитие. Как это я — и буду пить чай с самим Астафьевым?! Не-е-ет... Однажды мы проводили встречу с читателями, и Астафьев в течение двух часов читал стихи поэтов. Многие — по памяти. Это были стихи и японских поэтов, живших в Средневековье, и наших, современных. И в зале стояла удивительная тишина...

Он был очень прост в общении с нами. И в отношении к себе он был не требователен. Он считал, что не такой уж он и достойный писатель...»

О его открытости представителям прессы свидетельствует удивительная статистика. За десять его последних красноярских

лет жизни, как подсчитали библиотекари Овсянки, он дал более трехсот интервью журналистам. И это только опубликованные, которые удалось отыскать. Время тогда было во многом безинтернетное, и его общение с провинциальными журналистами оказалось в большинстве случаев неотраженным. А немало было еще тех интервью, которые из-за резкости его высказываний так и остались необнародованными. Умел писатель со всего размаху рубить правду-матку. Да не все редакции были готовы ее публиковать.

Талантливый прозаик Евгений Носов, проводивший с ним литературные семинары, живший не раз с ним рядом в гостиницах, писал в одной из статей: «Я не знаю другого человека, кроме Астафьева, который вот так легко, запросто и непринужденно сходил бы с людьми. Уже через пять-десять минут после первого знакомства вы ощущаете радостное чувство доверия к нему, хочется говорить и говорить, делиться сокровенным, такое впечатление, будто он давно знает вас, а вы — его. Есть у дедушки Сабанеева такое наблюдение: дескать, наш обыкновенный речной ерш слывет среди рыбьего народа за редкостного лекаря. Всякий хворый непременно норовит терануться больным местом о бок ерша, покрытого будто бы чудодейственным бальзамом. С Виктором Петровичем люди ищут встречи по схожим причинам. Есть в нем нечто такое, что исцеляет душевные раны, смуту и прочие человеческие неурядицы. Нет, он не волхв, не старец-кудесник. Но есть, есть у него к людям особое слово — и в книгах его, и изустно».

Писатель Александр Астраханцев, будто пытаясь возразить Носову, высказывается категорично: «Он всеми силами старался всегда стать центром компании, завладеть всеобщим вниманием, заставить всех себя слушать. Поэтому надо было или принимать эти его прямо-таки деспотические условия общения — или уходить из компании. Те, кто много с ним общался, — беспрекословно принимали или хотя бы терпели его условия. Мне они были неприятны, и чаще всего я уходил — общения не получалось».

А вот мнение другого известного человека: «Я к нему всегда как к Великому Старцу ехал. Такие люди, как он, и есть Родина. Может, Моцарту я на том свете полы буду мыть или за вином

бегать, а для Виктора Петровича все что угодно, хоть карандаши точить», — так говорил об Астафьеве дирижер Евгений Колобов, который умел оживлять ноты музыкой. Виктору Петровичу очень нравилась его трепетная талантливость. И однажды он пригласил его в Овсянку. Такое гостевание предлагалось только особо доверенным.

Колобов был очень удивлен, когда увидел его неказистую «избушку»:

«Я был поражен: у нас ведь теперь всякие крутые русские и разные там “великие” живут, конечно, мощно. А тут — мы бутылочку коньяка привезли на всякий случай, какие-то фрукты... и великий писатель моет их прямо в ведре. А потом библиотеку показал, которую построил.

— Виктор Петрович, вас тут, наверное, на руках носят, в вашей деревне?

А он мне:

— Дорогой мой! В конце этой деревни не знают, кто такой Астафьев.

С болью. В том смысле, что многие и книг-то его не видели, тем более — не читали».

Десятки людей, заявлявших о своей близости с Виктором Астафьевым, даже не догадывались, что по-настоящему он очень редко кому открывался. В компаниях — рубаха-парень, а внутри... Именно в тот самый период, о котором писал Носов, Астафьев предстает совершенно другим человеком, делясь сокровенным в письме Валентину Курбатову:

«В Вологде у меня нет никакого общения. Пока мог водку пить, собутыльничать было с кем. А вот уже не могу, да и неинтересно стало, не веселит и водка, и нету собеседника по душе».

А нижеследующие строки написаны были чуть ранее Николаю Яновскому: «Я тоже ведь живу затворником... как-то не находится собеседника открытого и умного, все с подковыром, да завистью, да ерничеством — я уж устал от этого».

Годом позднее он пишет сибиряку Николаю Волокитину:

«Хочется с кем-то поговорить, поболтать. А с кем? Живу я все же в чужом краю, с чужими людьми. А где они, родные-то? И Родина где? Овсянка? Это уже не моя Родина, это лишь ее тень,

напоминание, и могилы, заросшие крапивой, без догляду и слез оставленные. Я только и плачу еще про себя обо всем — и о Родине моей, и о могилах родных».

А сам писатель Николай Волокитин, для которого Астафьев — мастер и учитель, берет и пишет о нем в очерке «Соприкосновение»: «Виктор Петрович с одинаковым успехом может поражать как пронзительной отзывчивостью, так и не менее пронзительным равнодушием... Случалось — и довольно нередко! — когда он совершенно не понимал не только меня, но даже элементарные, сугубо очевидные вещи. И даже не пытался понять».

Как реагирует на это высказывание Астафьев? Он печатает этот очерк вместе с приведенным отрывком в своем собрании сочинений без всяких разъяснений и пояснений. Пусть, мол, потомки сами со всем разбираются.

А разбираться ох как не просто. В нем до конца так и осталась одна неискорененная особенность: болезненное, ранящее воспринимал зачастую с ходу, заполошно, скоропалительно. Всем сердцем. Журналисты всю пользовались этой его горячностью. Его ругали за такую поспешность высказываний, да он и сам себя не раз корил за это. Вот только для тех, кто нуждался в помощи и сочувствии, он был тем человеком, кто откликнулся на беду без долгих раздумий. И это его качество душевной широты так и останется во многом потаенным. Потому что помогал почти всегда тихо.

Только когда нужно было уточнить адрес нуждающегося или выяснить, как и чем лучше поддержать, он уже не скрывал причин своих обращений. Перечислял «в поддержку» денежные премии, гонорары, давал займы, помогал получать кому-то жилье, в том числе обеспечил кров ненавистной ему мачехе, когда ее бросили родные дети. И еще за счет его помощи хоронили, хоронили и хоронили дальнюю и близкую родню и совсем чужих для него людей. Просто приходили к нему домой совершенно незнакомые и говорили: «Петрович, может, поможешь?»

Журналист «Комсомольской правды» Николай Савельев рассказал, как однажды оказался с Астафьевым в детском доме на красноярском правобережье. Виктор Петрович во время встречи делился впечатлениями о своем детстве. А потом,

увидев в сторонке девочку, тихонько ее расспросил: не обижают ли, хорошо ли кормят? «Лишь много позже дошла до меня информация, — поведал Савельев, — что тогда он перечислил в детдом весь гонорар от недавно вышедшей книги».

Для понимания нужно пояснить, что гонорары Астафьева были в тот период большими, как и тиражи его книг. За одну выплату можно было иногда приобрести легковой автомобиль. Известно, что деньги за сборник повестей, изданный в Иркутске, он тоже полностью перечислил на счет Детского фонда. Очередную литературную премию без всякой огласки отдал на строительство библиотеки в Овсянке.

О помощи другому детскому дому в Красноярске сообщила мне Мария Семеновна. Туда они вместе покупали и отвозили одежду. Но рассказала она с горечью и о другом: «Ему ведь не с кем было даже поговорить, когда еще был в силах. Не потому, что никто не приходил. Приходило очень много людей... Но они приходили каждый за своим интересом. А пообщаться по-настоящему ему не с кем было.... Ему другой уровень нужен был. Он говорил: только когда Валентин Курбатов приезжает, только тогда и можно было наговориться с ним на весь год. И он очень ждал этих встреч...

А когда Витя тяжело заболел, — продолжила Марья Семеновна, — то о нем большинство вообще забыли. Он ждал хотя бы звонка от тех людей, которым сам помогал всем чем мог. Не дождавшись, он одному из таких писателей позвонил сам. Тот ему ответил: некогда. Поэтому я знаю совершенно точно: юбилей, который собираются отмечать, будет последним поклоном Астафьеву. А уж как стали сейчас трепать его имя — я промолчу. Скажу только, что настоящая память такой не бывает. Настоящая память — это совсем другое...»

Народный артист СССР Михаил Ульянов. Из письма Виктору Астафьеву. Март 1986 года:

«Вы не гладите по головке сегодняшнего человека, а бьете прямо по солнечному сплетению. А что еще с ним делать? Ни узды, ни тормозов, ни богов, ни веры. И даже страха нет. Круши и все. День, да мой!»